

**Майкл Каннингем**  
Избранные дни

**Michael Cunningham**  
Specimen Days

# Майкл Кэнингем

## Избранные дни

Роман

*Перевод с английского*  
Дмитрия Карельского



издательство **астрель**

УДК 821.111(73)-31  
ББК 84(4С0Е)-44  
К19

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии ИЗДАТЕЛЬСТВА АСТ

**Каннингем М.**

К19 Избранные дни : роман / Майкл Каннингем ; пер. с англ. Д. Карельского — М.: Астрель : CORPUS, 2011. — 512 с.

ISBN 978-5-271-32646-2 (ООО “Издательство Астрель”)

Майкл Каннингем, автор бестселлеров “Дом на краю света”, “Плоть и кровь” и “Часы” — один из самых знаменитых прозаиков современной Америки. Именно за “Часы” — лучший американский роман 1998 года — автор удостоен Пулицеровской премии, а одноименный фильм, снятый британским кинорежиссером Стивеном Долдри, получил премию “Оскар” и обошел киноэкраны всего мира. Следующий его роман “Избранные дни” — повествование удивительной силы. Оригинальный и смелый писатель, Каннингем соединяет в книге три разножанровые части: мистическую историю из эпохи промышленной революции, триллер о современном детском терроризме и новеллу о постапокалиптическом будущем, которые связаны местом действия (Нью-Йорк), неизменной группой персонажей (мужчина, женщина, мальчик) и пророческой фигурой американского поэта Уолта Уитмена.

УДК 821.111(73)-31  
ББК 84(4С0Е)-44

ISBN 978-5-271-32646-2 (ООО “Издательство Астрель”)

© 2005 by Mare Varogum Corp.  
© Д. Карельский, перевод на русский язык, 2007  
© А. Бондаренко, оформление, 2010  
© ООО “Издательство Астрель”, 2010  
Издательство CORPUS ®

# Содержание

<i>От автора</i> .....	11
В машине .....	13
Крестовый поход детей .....	161
Как красота .....	329
<i>Слова благодарности</i> .....	507



*Этот роман посвящается  
памяти моей матери Дороти*





Ты же, о Муза, не бойся! поистине новые дни  
и пути принимают, окружают тебя,  
И странные, очень странные люди, небывалая  
порода людей,  
Но сердца все те же и лица те же,  
Люди внутри и снаружи все те же, чувства те,  
порывы те же  
И красота, и влюбленность те же...<sup>1</sup>  
УОЛТ УИТМЕН

1 Стихи У. Уитмена цитируются в основном в переводе К. Чуковского.



## *От автора*

Всякий писатель, отчасти или целиком помещающий свой роман в узнаваемое место и эпоху, сталкивается с проблемой достоверности. Самое очевидное ее решение — одновременно и самое непростое. Оно заключается в абсолютно точном воспроизведении исторических событий. Сражения должны разыгрываться там же и тогда же, где и когда они в действительности были разыграны; дирижабли не могут появиться в небе хотя бы мгновением раньше, чем они были изобретены; знаменитому художнику невозможно появиться на маскараде в Новом Орлеане, если известно, что в этот конкретный вечер он принимал процедуры от подагры в Батон-Руж.

Так или иначе, строгая последовательность исторических событий имеет свойство противоречить нуждам рассказчика. От биографов и историков, может, и требуется упоминать о том, что их герой опоздал на поезд, что у него отменилась встреча или наступил период апа-

тии; автор художественного произведения пользуется большей свободой. Романисту обычно приходится самому решать, какая доза рабской дотошности добавит живости повествованию, а какая, напротив, ей повредит. Тут открывается самый широкий спектр возможных подходов. Я знаю романистов, которые ни за что не посмеют пойти против документально подтвержденных фактов, но я также знаю — и глубоко им восхищаюсь — одного писателя, который выдумывает все, от традиций и обычаев современников Христа до основ ботаники и законов функционирования человеческого организма. На недоуменные вопросы он отвечает просто: “Это художественная литература”.

Роман “Избранные дни” помещается где-то посередине между этими двумя крайностями. В сценах из прошлого я в меру возможности стараюсь быть верным историческим реалиям. Но со стороны читателя ошибкой было бы считать мои описания буквалистски точными. Особенно свободно я обхожусь с хронологией и помещаю в один момент времени события, людей, здания и монументы, которые на самом деле могут быть разделены двадцатью, а то и больше, годами. Тому, кого интересует безусловно правдивая картина Нью-Йорка середины—конца девятнадцатого века, порекомендую книгу “Готам”<sup>1</sup> Эдвина Дж. Берроуза и Майка Уоллеса, которая и послужила первоначальным источником для моих вариаций.

<sup>1</sup> *Готам* — шутовское название Нью-Йорка. (Здесь и далее — прим. перев.)

**В машине**



**У**олт говорил, что мертвые становятся травой, но там, где похоронили Саймона, травы не было. Вместе с прочими ирландцами он лежал на другом берегу реки, где только глина, гравий и имена на камнях.

Кэтрин верила, что Саймон попал в рай. У нее был медальон с его портретом и прядью его волос.

— В раю ему самое место, — сказала она. — Он был слишком хорош для этого мира.

Она рассеянно смотрела из окна гостиной, словно ждала, что по улице на сияющей колеснице вот-вот прокатит Саймон, просветленный, красивый своей бесшабашной молочно-бледной красотой, с улыбкой помахивая рукой на радостном пути туда, где ему всегда надлежало быть.

— Ну если ты так думаешь, — отозвался Лукас.

Кэтрин коснулась медальона. Движения ее суженных к концам пальцев были очень точны. Она умела класть ими такие мелкие стежки, что и не разглядишь.

— И при всем при том он по-прежнему с нами, — сказала она. — Ты разве не чувствуешь?

Она, словно четки, теребила цепочку медальона.

— Наверно, — ответил Лукас.

Для Кэтрин Саймон был и в медальоне, и в раю, и по-прежнему с ними. Не думает же она, надеялся Лукас, что ему приятно тягаться со столькими Саймонами.

Гости разошлись по домам, отец и мать Лукаса улеглись спать. В гостиной были только Лукас с Кэтрин и то, что осталось от стола — пустые тарелки, шкурка окорока. Окорок купили на свадьбу Кэтрин и Саймона. Удачно вышло, что он пригодился для поминок.

Лукас сказал:

— Я слышал, о чем говорили говоруны, их толки о начале и конце. Я же не говорю ни о начале, ни о конце.

Он не собирался говорить как книга. Он никогда не собирался нарочно делать это, но, когда волновался, так получалось само собой.

— Ох, Лукас...

Сердце у него замерло, потом заколотилось как бешеное.

— Мне беспокойно за тебя, — сказала она. — Ты такой маленький.

— Мне почти тринадцать, — возразил он.

— Ужасное место. И такая тяжелая работа.



— Мне с ней повезло. Это счастье, что мне предложили место Саймона.

— И в школу ты больше не будешь ходить.

— Мне и не надо. У меня есть книга Уолта.

— Ты ведь знаешь ее всю наизусть?

— Да нет. Она большая, нужно несколько лет, чтобы все выучить.

— Будь осторожнее там, на фабрике, — сказала она. — Будь...

Она замолчала, но в лице совсем не переменилась. Она по-прежнему сидела, обратив к нему профиль, величественно прекрасный, как у женщины на монете. Она все смотрела вниз на улицу в ожидании небесной процессии во главе с Саймоном, гордостью семьи, новопровозглашенным принцем мертвых.

Лукас сказал:

— Ты тоже будь осторожнее.

— Милый мой, мне нечего остерегаться. Я далеко не заглядываю: день прошел — и то хорошо.

Она надела медальон обратно на шею, он исчез у нее под платьем. Лукас хотел сказать ей... Что он хотел ей сказать? Он хотел сказать ей, что он чем-то обуреваем, что он вечно на взводе и отчаянно одинок, что кроме трепещущего сердца в его теле заключено что-то еще, что он чувствует, но не может выразить словами: нечто пористое и шиповатое, меняющееся вслед за движением мысли, порывами и воспоминаниями; исполненное, подобно звездам, блеска, переливов белого, зеленого и светло-золотистого; нечто, сродное по со-

ставу звездам и оттого влюбленное в них. Он хотел сказать ей, как это ужасно, как невыносимо, когда тебя держат всего-навсего за нескладного большеголового мальчика с глазами навывкате и привычкой говорить невпопад.

Он сказал:

— Я славлю себя и воспеваю себя, и что я принимаю, то примете вы.

Не то он надеялся ей сказать.

Она улыбнулась. Ну хотя бы она на него не сердилась.

Кэтрин сказала:

— Пора идти. Проводишь меня до дому?

— Да, — сказал он. — Да.

На улице Кэтрин взяла его под руку. Он старался успокоиться, вышагивать твердо, по-мужски, хотя больше всего ему хотелось вообще перестать вышагивать, а подняться дымком вверх и поплыть над улицей, полной вечернего народа — возвращающихся домой рабочих, мальчишек, продающих газеты. Полоумный мистер Кейн в бурого цвета пальто расхаживал на своем углу, вылавливая что-то у себя из бороды и выкрикивая: “Негодник, ты пропал и забыт, но что ты наделал разбитым сердцам?” Улицу пронизывали обычные запахи конского помета, керосина и едкого дыма — здесь обязательно что-нибудь где-нибудь горело. Если бы только Лукасу оставить свое тело — он бы превратил-

ся в то, что он видел, слышал и обонял. Он бы обволок Кэтрин, как обволакивал ее воздух, касался бы ее повсюду. Она бы вдохнула, и он оказался бы внутри нее.

Он сказал:

— И малейший росток есть свидетельство, что смерти на деле нет.

— Правильно, мой хороший, — отозвалась она.

Мальчишка-газетчик кричал:

— Покупайте! Читайте! Зверское убийство женщины!

Лукас подумывал, не пойти ли в газетчики, но за это слишком мало платят, да и кто может поручиться, что он станет выкрикивать заголовки? Забудется и пойдет по улице, декламируя во весь голос: “Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам”. Фабрика ему больше подходит. А если станет немого, можно покричать в Саймонову машину. Машина об этом не узнает, или ей не будет до этого дела, как теперь и Саймону.

Всю дорогу Кэтрин молчала. Лукас заставил себя тоже не открывать рта. Ее дом находился в трех кварталах к северу, на Пятой улице. Они вместе поднялись на крыльцо и остановились у обшарпанной двери.

— Ну вот, пришли, — сказала Кэтрин.

Мимо проехал фургон с золотистым пейзажем на борту: две коровы паслись среди чахлах деревьев, а третья подняла морду к реявшему в золотом небе названию маслобойни. Может, такой он и есть, рай? Захотел бы Саймон там очутиться? Если бы Саймон отправил-

ся в рай и тот возьми да окажись лугом с благостными коровами, каким бы Саймон туда прибыл? Целым или искореженным?

Между Лукасом и Кэтрин сгустилась тишина, не похожая на молчание, сопровождавшее их по пути. Пора, подумал Лукас, сказать что-нибудь, и сказать не как книга.

— С тобой все будет в порядке?

Она засмеялась, и он волосками на руке ощутил это тихое журчание.

— Это я должна бы тебя об этом спросить. С тобой все будет в порядке?

— Да, все будет хорошо.

Она бросила взгляд чуть повыше Лукаса и повела плечами, слегка поежившись под своим темным платьем. На какое-то мгновение показалось, что платье с высоким воротником и его шуршащий невидимый шелк живут своей собственной жизнью. Словно она подумала было воспарить прочь из платья, но отказалась от этой мысли и решила остаться в одеждах.

— Случись это неделей позже, я была бы вдовой, да? А теперь я ничто, — сказала она.

— Нет-нет, ты замечательная, ты красивая.

Она снова рассмеялась. Лукас посмотрел под ноги и увидел в камне крыльца какие-то блестящие вкрапления. Слюда? Он быстренько вошел в камень. Он был холодным, искрящимся и неизменным, ему нравилось, что по нему ходят.

— Я старуха, — сказала она.

Он замешкался. Кэтрин было основательно за двадцать пять. Об этом много судачили после помолвки, потому что Саймону едва исполнилось двадцать. Но она не была старой в том смысле, который имела в виду. Она не скисла и не одрябла, не поблекла.

Он сказал:

— Предо мною вы ни в чем не виновны, для меня вы не отжившие и не отверженные.

Она дотронулась до его щеки.

— Милый мальчик, — сказала она.

— Я тебя еще увижу?

— Конечно увидишь. Я никуда не денусь.

— Но это будет уже не так, как раньше.

— Да, боюсь, не совсем так.

— Если б только...

Она ждала, что он скажет. Он тоже ждал. Если б только машина не взяла Саймона. Если б только сам Лукас был взрослее и крепче здоровьем, если б надежнее было его сердце. Если б только он сам мог жениться на Кэтрин. Если б только он мог оставить свое тело и сделаться платьем, которое она носит.

Молчание все длилось, и она поцеловала его. Коснулась губами его губ.

Когда она отстранилась, он сказал:

— Воздух не духи, его не изготовили химики, он без запаха, я глотал бы его вечно, я влюблен в него.

— Теперь иди домой и ложись спать, — сказала она.

Пора было оставить ее. Ему было больше нечего делать, нечего сказать. Но он медлил. Лукас почувство-

вал, как иногда чувствовал во сне, что стоит на сцене перед полным залом и от него ждут, чтобы он что-нибудь спел или прочитал.

Она повернулась, достала из сумочки ключ и встала его в замочную скважину.

— Спокойной ночи, — сказала она.

— Спокойной ночи.

Он спустился по ступенькам. Стоя на тротуаре, он произнес вслед ее исчезающей фигуре:

— Я и молодой и старик, я столь же глуп, сколь и мудр.

— Спокойной ночи, — повторила она.

И скрылась с глаз.

Он не пошел домой, хотя именно так ему следовало поступить. Вместо этого он пошел на Бродвей, туда, где ходили живые люди.

Бродвей оставался самым собой, всегда собой — рекой света и жизни, несущей себя сквозь тени и огоньки большого города. У Лукаса, как и каждый раз, когда он оказывался здесь, засосало под ложечкой от будоражающего ощущения незаконности, как если бы он был шпионом, засланным в другую страну, в королевство богатых. Он шагал с нарочито беззаботным видом, надеясь остаться настолько же невидимым для окружающих, насколько они были видимы ему.

На тротуарах припозднившиеся покупатели уступали место ранним праздношатающимся. Дамы в плать-

ях цвета голубиной грудки, цвета дождя, шелестели мимо со свертками в руках, негромко переговариваясь друг с дружкой из-под полей оперенных шляпок. Мужчины в пальто шагали уверенно, распространяя вокруг себя резкий аромат сигар, скаля в улыбке зубы, шлепая по брусчатке ботинками цвета лакрицы. Экипажи проезжали мимо, развозя по домам любовниц этих мужчин, мальчишки-газетчики выкрикивали: “Читайте! Читайте! У Пяти Углов убита женщина!” Красные занавески пузырились в окнах гостиниц под багровеющим к ночи небом. Кто-то где-то играл на каллиопе мелодию “Лилит”, но казалось, будто музыку порождает сама улица, будто это люди, такие уверенные и довольные собой, своими шагами извлекают ее из тротуара.

Если Саймон был в раю, то рай мог быть похож на все это. Лукас без труда представлял себе вечно шагающие души умерших, звучащую из брусчатки музыку и приглушающие свет занавески. Но было бы это раем для Саймона? Его брат всегда (не теперь, раньше) был шумным и необузданным, любил попеть песни и поест. Что еще могло его порадовать? Ему дела не было до занавесок или платьев. Дела не было до Уолта и книги. Чего бы ему хотелось от рая?

Бродвей стал бы хорошим раем для Лукаса — Бродвей, Кэтрин и книга. В этом раю он превратился бы во все, что видит и что слышит. Там он был бы самим собой и Кэтрин; был бы каллиопой и уличными фонарями; был бы ботинками, шагающими по тротуару, и тротуаром, на который они ступают. Он бы катал-

ся с Кэтрин на игрушечной лошадке из витрины “Нидермайера”, которая была бы размером с настоящую лошадь, но сохраняла при этом все совершенство игрушки и мягко скользила по булыжной мостовой на своих ярко-красных колесиках.

Он сказал:

— Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей.

Проходивший мимо мужчина в пальто странно посмотрел на него. В Лукасовом раю этот мужчина был бы одним из ангелов, таким же упитанным и цветущим, как на земле. Но только он не считал бы Лукаса странным. В раю Лукас был бы красивым. И все бы понимали язык, на котором он говорит.

Когда он вернулся домой, там было сумрачно и тихо. Печка, стулья, узор ковра призрачно выплывал из темноты. На столе музыкальная шкатулка, разрушившая жизнь семьи. Она стояла все такая же веселенькая, коробочка с вырезанной на крышке розой. Шкатулка по-прежнему умела играть “Задуй свечу” и “О, не шепчи его имя” — как и в тот день, когда мать купила ее.

А еще здесь были лица, они смотрели со стен, их чтили, к ним обращались за советом, с них регулярно вытирали пыль. Посередине Мэттью, шестилетний, темноглазый и чопорно серьезный, репетирующий встречу с инфлюэнцей, которая год спустя превратит его в фотографию. Вот шутник дядя Иан, который находил забавным, что в один прекрасный день от него



останется всего лишь лицо на стенке. Вот круглая довольная физиономия прабабушки Эйлин, которая считала жизнь временным неудобством, а смерть — подлинным и единственным пристанищем. Все они, полагала мать, пребывали в раю, однако рай для нее был равнозначен Ирландии, но только чтоб там никто не голодал.

Матери следовало бы приготовить место для Саймона, но пространства на стене больше не оставалось. Лукасу было интересно, придется ли убирать кого-нибудь из предыдущих покойников.

Лукас помедлил у двери в комнату родителей. Он слышал за дверью их дыхание, подумал о том, что может им сниться. Постояв немного в одиночестве среди сонного мрака, он направился в комнату, где жили они с Саймоном.

Там стояла их кровать, а над ней из овальной рамы выглядывала святая Бригитта, вся страдание и экстаз, с пламенеющим кругом над головой, — когда Лукас был младше, он думал, что это у нее так болит голова. Вот колышки, на которых висела их одежда, его и Саймона. Святая Бригитта скорбно взирала на ненадетые вещи, как могла бы взирать на тела праведников, после того как от них отлетела душа. Она словно гадала в своем круге света: куда подевались механизмы, движимые желанием и нуждой, которые прежде носили эти рубахи и штаны? Попали в рай. А на что он больше похож — на Бродвей или на Ирландию? В ящиках легли под землю. Заключены в портретах и медальонах, в комнатах,

которые все не хотят расставаться с воспоминаниями о тех, кто в них ел, спорил и видел сны.

Лукас разделся и лег в постель с Саймоновой стороны. Подушка Саймона все еще пахла Саймоном. Лукас вдохнул этот запах. Это были соки Саймона — выделения его сальных желез, его пот. Еще не так явно слышался запах машинного масла и другой его запах — запах, которым пах только Саймон. Он напоминал запах хлеба, но не был им, а был всего-навсего запахом тела Саймона, когда оно двигалось и дышало.

В окно, по ту сторону двора-колодца, он видел освещенные занавески Эмили Хофстедлер. Эмили работала вместе с Кэтрин в “Маннахэтте”, пришивала рукава к корсажам. Она любила тайком лакомиться рахат-лукумом из серебристой жестянки, которую прятала у себя в комнате. Наверно, подумал Лукас, она и сейчас его ест там, за занавесками. А что было бы раем для Эмили, которая обожала сладкое и вздыхала по Саймону? Был бы там у нее съедобный Саймон?

Он зажег лампу, достал из-под матраса книгу. И начал читать:

*Ребенок сказал: “Что такое трава?” — и принес мне полные горсти травы.*

*Что мог я ответить ребенку? Я знаю не больше его, что такое трава.*

*Может быть, это флаг моих чувств, сотканный из зеленой материи — цвета надежды.*

*Или, может быть, это платочек от Бога,  
Надушенный, нарочно брошенный нам на память, в  
подарок,  
Где-нибудь в уголке есть и метка, чтобы, увидя, мы  
могли сказать чей?*

Он перечитывал эти строки снова и снова. Потом закрыл книгу и, подняв ее, поднес к глазам портрет Уолта — глядевшее со страницы маленькое бородатое лицо. Хотя грех так думать, он все равно верил, что Бог должен быть похожим на Уолта с его пронизывающе-благодарным взглядом и съедобной на вид, струящейся бородой. Он видел Уолта два раза на улице, и однажды, как ему показалось, встретил святую Бригитту, — вся укутанная и печальная, она заходила в дом, на голове у нее была шляпа, прячущая круг света. Ему было приятно знать, что они ходят по земле, но больше они нравились ему такими, какими обитали здесь, в книге и на стене.

Лукас положил книгу обратно под матрас. Погасил лампу. Ему снова стал виден свет занавесок Эмили на той стороне двора-колодца. Он зарылся лицом в подушку Саймона. Саймон все еще был с ними. Им пахла его подушка.

Лукас прошептал в подушку:

— Тебе надо уйти. Правда, по-моему, тебе пора.

Утром он заварил чай себе и отцу, достал хлеба. Отец сидел за столом со своей дыхательной машиной —

трубкой и мехами, закрепленными на металлическом штативе с тремя тонкими квадратными ножками. Мать еще не вставала.

Лукас съел свой хлеб, выпил чай и сказал:

— До свидания, отец.

Отец испуганно посмотрел на него. За годы, проведенные в дубильной мастерской, он сам превратился в кожаную заготовку. Отполированная, с невидимыми порами кожа идеально обтягивала его череп и тяжелую нижнюю челюсть. Темные глаза выглядели на его лице драгоценными камешками. Свою красоту, свои крупные дерзкие черты Саймон унаследовал в основном от отца. В кого и почему пошел Лукас, не знал никто.

— Ну пока, — сказал отец.

Он поднес к губам трубку и сделал вдох. Меха надулись и опали. Теперь, когда он стал кожаной заготовкой с драгоценными камешками вместо глаз, за него дышала машина.

— Присмотришь за матерью? — спросил Лукас.

— Ага.

Лукас положил свою маленькую ладонь на его коричневую. Он любил себя за то, что любил отца. Это было лучшее, что он мог для него сделать.

— Я на фабрику, — сказал он.

— Ага, — ответил отец и сделал еще один вдох из трубки. Машину он получил в подарок от дубильной мастерской. Ему дали эту машину и еще немного денег. За Саймона денег никто не дал, потому что он погиб по своей собственной вине.

Лукас поцеловал отца в лоб. Ум у отца тоже превратился в кожаную заготовку, но добрым он был по-прежнему. Только все для него стало проще. Но все, что нужно, он еще делать мог. Он все еще мог любить мать Лукаса и ухаживать за ней. Лукас надеялся на это.

Он сказал:

— Тогда до вечера.

— Ага, — ответил отец.

По пути на фабрику Лукас остановился у школы. Он не стал в нее входить, а зашел за угол и заглянул в окно. Ему было видно, как хмурится за столом мистер Малкейди, как пляшут в стеклах его очков отблески ламп. Ему были видны корпящие над заданием ученики. Школа оставалась без него. Здесь по-прежнему были парты и грифельные доски. По-прежнему на стене висели две карты — мира и звездного неба. Лукас только совсем недавно сообразил (некоторые вещи доходили до него не быстро), что эти карты разные. До того он думал, а спросить не приходило в голову, что одна карта — это разновидность другой, что расположение звезд — зеркальное отражение стран и континентов. А зачем бы иначе вешать две карты рядом? Когда Лукас был помладше, он даже нашел на звездной карте то, что соответствовало Нью-Йорку на земной — созвездие Плеяд.

Это мистер Малкейди дал Лукасу книгу Уолта, дал на время. Мистер Малкейди говорил, что у Лукаса поэтическая душа, что было мило с его стороны, но не от-

вечало истине. У Лукаса вообще не было души. Он был чужаком, гражданином ничейной страны, уродившимся в графстве Керри и пустившим корни в Нью-Йорке, где он рос как чахлый картофельный куст; где он не пел и не орал, как другие ирландские дети; где он носил в себе не душу, а пустоту, тут и там пронизанную болезненными вспышками любви — любви к карте звездного неба и ответным огонькам на очках мистера Малкейди, к Кэтрин, к матери и к лошади на колесиках. Он не скорбел по Саймону, не имел своих представлений о рае, не жаждал животворящей крови Христовой. Ему хотелось хриплой пронзительности этого города, где люди таскали туда-сюда горы зерна и угля, где плясали под скрипку, рыдали и смеялись, продавали, выпрашивали и выменивали, не обязательно удачно, но всегда с напором, который Лукас про себя называл душой. Она была дерзко, несокрушимо живой. Он надеялся, что книга вселит в него эту душу.

Ну вот, со школой покончено. Может, он и хотел бы зайти попрощаться с мистером Малкейди, но тогда бы мистер Малкейди попросил вернуть книгу. А этого Лукас сделать не мог, во всяком случае пока оставался облаченной в одежду пустотой. Мистер Малкейди будет не против еще подождать, надеялся он.

Он молча попрощался с классной комнатой, с картами и с мистером Малкейди.

Фабрика была как город в городе — кирпичные стены, кирпичные башни и ворота, в которые могли пройти

шесть лошадей в ряд. Лукас вошел в ворота в толпе мальчишек и мужчин. Одни из них шли молча, другие болтали, смеялись. Один сказал: “Она толстая, таких толстых больше просто не бывает”, а другой ответил: “А мне как раз толстухи и нравятся”. Мальчишки и молодые мужчины были бледными. Мужчины постарше успели потемнеть лицом.

Нерешительным шагом вместе со всеми Лукас вышел на мощный булыжником двор, где огромными плитками черного шоколада высились выложенные у стен штабеля железа. Вместе со всеми он прошел в сводчатую дверь на противоположном конце двора, за которой трепетал мрак.

Тут он остановился. Остальные шли мимо. Мужчина в синей кепке натолкнулся на него, выругался и пошел дальше. Этого мужчину тоже съест машина, как она съела Саймона. То, до чего машине больше не было дела, укладывали в ящик и отвозили на тот берег реки.

Лукас не знал, идти ли ему дальше или подождать. Он подумал, что ждать было бы глупо. Все остальные были такими уверенными, такими крикливыми и в то же время стойкими — как строптивые солдаты на параде. Ему страшно не хотелось привлекать к себе внимание. Но в то же самое время он опасался, что, если двинуться дальше, это приведет к ошибке, неясной, но непростительной. Он так и стоял, мучась неопределенностью, в обтекавшей его толпе.

Скоро Лукас остался один, если не считать нескольких запоздавших, которые торопились мимо, ско-

рее всего вовсе его не замечая. Наконец — и это показалось ему актом несказанного милосердия — во двор вышел человек и спросил:

— Ты Лукас?

Это был гигант с посеревшей кожей, его широкое как лопата лицо не шелохнулось, когда он говорил. Только рот двигался — словно бы человеку, сделанному из железа, было дано умение говорить.

— Да, — ответил Лукас.

Мужчина с сомнением посмотрел на него:

— Что это с тобой такое?

При этих словах показались десны, розоватые, мертвенно-бледные на сером лице.

— Я здоров, сэр. Могу работать не хуже других.

— А лет тебе сколько?

— Тринадцать, сэр, — ответил Лукас.

— Нету тебе тринадцати.

— Будет в следующем месяце.

Мужчина покачал железной головой:

— Эта работа не для ребенка.

— Сэр, пожалуйста. Я сильнее, чем кажусь. — Лукас расправил плечи, чтобы выглядеть крепче.

— Хорошо, работу тебе дали. Посмотрим, как справишься.

— Жалкая! Мне не смешна твоя брань, и я не глумлюсь над тобой, — сказал Лукас и тут же опомнился.

— Что?

— Прошу вас, сэр, — сказал Лукас. — Я буду стараться. Я все смогу.



— Посмотрим. Меня зовут Джек Уолш.

Лукас протянул ему руку. Джек посмотрел на нее, как если бы Лукас преподнес ему лилию. Он взял его руку и пожал так крепко, что Лукас чуть не заплакал. Если Уолт был сама книга, то Уолш был сама фабрика. Он был отлит из железа и наделен живым ртом.

— Пошли, — сказал Джек. — Покажу, что будешь делать.

Лукас прошел за ним в комнату, где люди сидели в проволочных клетках, сердито насупившись над бумагами. Пройдя ее, они оказались в огромном цеху, вдоль стен которого тянулись печи. Там, куда не достигал свет пламени из печей, стоял блеклый оранжевый полумрак, по краям тлеющий невнятной таинственной мглой. В цеху разило жаром, углем и креозотом. Кругом стояли визг и лязг. Стаи искр взмывали к потолку, непоседливые, как мухи. Перед печами в окружении искр стояли люди и шуровали в огне длинными черными палками.

— Горячий, — всего-то и сказал Джек.

Что он имел в виду? Лукас решил как-нибудь потом его об этом спросить.

Джек проводил Лукаса мимо ряда печей, под хаотическим скоплением черных крючьев и блоков с кожаными ремнями, которые свисали с далекого потолка, тут и там подсвеченные оранжевыми отблесками. Из горячего цеха широкая дверь вела в другое помещение, такое же большое, но потемнее. По двум его стенам выстроились бурые туши машин, нелепых и огромных,

как слоны, машин, состоящих из ремней, металлических брусьев и колес, проворачивающихся с пронзительным скрежетом и грохотом. Помещение напоминало конюшню или коровник — оно наполнилось неясной упорной жизнью.

— Обрезка и штамповка, — сказал Джек. — Тут и будешь работать.

Воздух в цехе обрезки и штамповки был пронизан пылью, но какой-то яркой пылью — серебристые частички мерцали и поблескивали, проплывая в медленно густеющем свете. У машин, сгорбившись, с напряженными плечами и бедрами, стояли люди, занятые таинственной работой. Лукас заметил, что эти люди, подобно Джеку, приобрели тот же цвет, что и воздух в цехе. Это они так умирали или просто становились воздухом?

Джек отвел его к машине в дальнем конце цеха. Оттуда взору открывалось другое помещение, но Лукас различал там только замогильную тишину и череду уставленных серебристыми коробками сводчатых, как в катакомбах, зал. Должно быть, за этим помещением было еще одно, а за ним еще и еще. Фабрика, наверное, протянулась на многие мили, как система подземных пещер. Казалось, по ней можно идти долгие часы, чтобы в конце концов выйти... Выйти куда?

Лукас не очень понимал, что производит фабрика. Саймон никогда об этом не рассказывал. Лукас воображал себе некое сокровище, живую драгоценность, шар зеленого огня, бесконечно дорогой, изготовление которого требовало беспредельных усилий. Непонят-

но, почему ему не приходило в голову расспросить об этом. Работа брата всегда представлялась Лукасу таинством, требующим уважительного к себе отношения.

— Вот, — сказал Джек, останавливаясь у одной из машин. — Здесь будешь работать.

— На ней работал мой брат.

— Да.

Лукас стоял перед машиной, которая забрала Саймона. Она представляла собой зубчатый барабан, вроде исполинского валика механического пианино, с насаженным на него широким ремнем с металлическими зажимами по краям.

Джек сказал:

— Тебе надо быть осторожнее, чем был твой брат.

По его голосу Лукас понял, что машина была не виновата. Он уставился на машину, как когда-то уставился на гориллу в цирке Барнума. Она была громадной и невозмутимой. Она несла свой барабан, как улитка носит свою раковину — с неизъяснимой и неторопливой гордостью. И подобно улитке с ее раковиной, в нижней своей части машина жила более подвижной, более текучей жизнью. Под барабаном, который хватал своими квадратными зубьями крупичицы оранжевого света, рядами располагались зажимы, бледная, голая на вид кожа ремня и тонкие трубки рычагов. На барабане лежала зыбкая черно-коричневая тень. Машина выглядела одновременно и грозной, и уязвимой. Она протягивала свой ремень как приглашение к взаимному великодушию.

Джек сказал:

— Вон Том Клер. — Он кивнул в сторону молодого мужчины, работавшего у соседней машины. — Складывает пластины в этот контейнер. Том, это Лукас, новенький.

Том Клер, остролицый и с баками, поднял голову.

— Сочувствую твоей потере, — сказал он.

Он, должно быть, видел, как машина сожрала Саймона. Тогда, может, это он виноват? Может, он должен был действовать быстрее, смелее?

— Спасибо, — ответил Лукас.

Джек достал из контейнера прямоугольный кусок железа размером с печную дверцу и положил на ремень.

— Прочно ее закрепляешь, — сказал он и приладил пластину под зажимы, их пришлось по три с каждой стороны. — Видишь линии на ремне?

Ремень был размечен белыми полосками, проведенными в нескольких дюймах от каждого зажима.

— Верхний край, — сказал Джек, — должен лежать ровно. Понимаешь? Точно по линии.

— Понимаю, — ответил Лукас.

— Когда ровно уложишь пластину и туго завинтишь зажимы, сначала тянешь этот рычаг.

Он потянул рычаг вправо от ремня. Барабан пробудился и со вздохом начал поворачиваться. Его зубья остановились в дюйме от пластины.

— Когда барабан провернется, тянешь за другой рычаг.

Он потянул второй рычаг, расположенный рядом с первым. Ремень медленно пополз. Лукас следил, как ремень несет железную пластину, пока та не наткнулась на зубья барабана. Зубья, впечатавшись в железо, издали такой звук, будто молотки ударили по непробиваемому стеклу.

— Теперь иди за мной.

Джек повел Лукаса к другой стороне машины, где из-под барабана уже выползала пластина, вся испещренная неглубокими квадратными вмятинами.

— Когда она целиком появится, идешь назад и возвращаешь рычаги на место. Сначала второй, потом первый. Понятно?

— Да, — сказал Лукас.

Джек потянул рычаги и остановил машину — сначала ремень, затем барабан. Высвободил пластину из зажимов.

— Потом ты ее проверяешь, — сказал он. — Смотришь, чтобы все отпечатки были на месте. По четыре углубления поперек, по шесть вдоль. Все должны быть идеально ровными. Проверь каждый квадратик. Это важно. Если что-то не так, относишь пластину туда. — Он показал на другой конец цеха. — Уиллу О’Хара на переплавку. Если в чем-то сомневаешься, даешь взглянуть Уиллу. Если доволен результатом и уверен, что отпечатки получились идеальные, несешь пластину вон туда, Дэну Хини. Вопросы есть?

— Нет, сэр, — сказал Лукас. — Вроде нету.

— Отлично. Тогда попробуй сам.